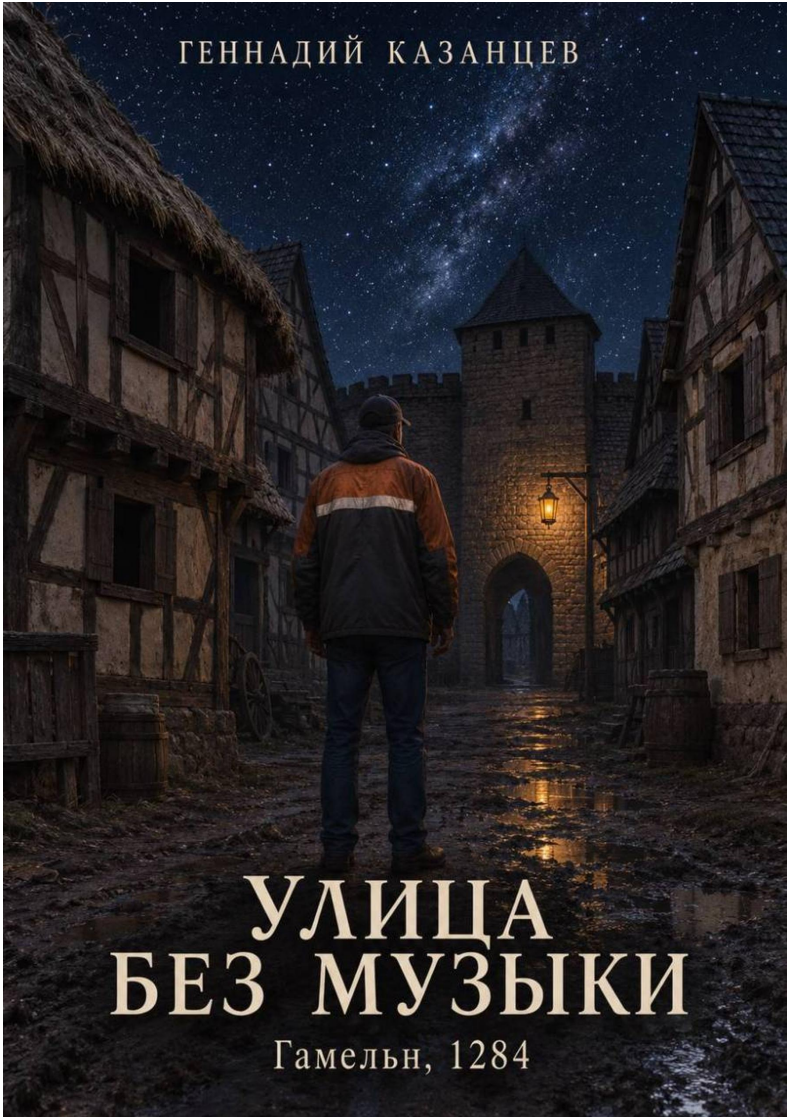

ГЕННАДИЙ КАЗАНЦЕВ
УЛИЦА БЕЗ МУЗЫКИ
Гамельн, 1284

Геннадий Казанцев
Улица без музыки

https://litres.ru/74784474
SelfPub; 2026

Аннотация

Яков Шестаков, фермер из алтайской степи, приезжает в Гамельн на юбилей тётки. В День дудочника, после тяжёлого разговора с сыном, он сворачивает на улицу, где по старому обычаю не играет музыка, — и выходит в 1283 год. Чужой язык, ни денег, ни родни, ни поручителя, а без поручителя чужака выставляют за ворота. До дня, когда из города уйдут сто тридцать детей, остаётся год. Яков знает сказку о крысолове. Что было на самом деле, ему предстоит увидеть самому.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЧУЖОЙ. 4
Глава 2. Стража 16
Конец ознакомительного фрагмента. 27

Геннадий Казанцев
Улица без музыки

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЧУЖОЙ.
Глава 1. День дудочника

Крысы в Гамельне были везде. Бронзовые, с ладонь величиной, сидели в мостовой и носами показывали туристу дорогу к музею. Красные, нарисованные, бежали по витринам аптек и пивных. В булочной на углу их пекли из сдобы, с изюминами вместо глаз, и Петер купил Якову одну, ещё тёплую.

— Ешь, — сказал он. — Тут без крысы нельзя. Всё равно что в Кулунде без пельменей.

Яков откусил голову. Тесто было сладкое и мягкое, крысиным в нём был только хвост, загнутый крючком.

Жара стояла с утра. Небо над черепичными крышами было белёсое, пустое, без единого облачка, и Яков по привычке прикинул, что под Кулундой сейчас так же печёт и что пшеница у него на дальнем поле, если до воскресенья не пройдёт дождь, начнёт скручивать лист. Он прикидывал это каждый день, с тех пор как прилетел, и каждый раз одёргивал себя: Ирина пишет, что всё в порядке, а с поля отсюда всё равно

ничего не сделаешь.

На площади перед Свадебным домом с трёх часов толпился народ. Дом был высокий, из жёлтого песчаника, с тремя островерхими щипцами и узорными окнами. Петер объяснил, что строили его четыреста лет назад, чтобы горожанам было где гулять свадьбы, отсюда и название. Сейчас у его стены соорудили помост, натянули гирлянды и расставили лавки. Дети с нарисованными кошачьими усами, немцы в шортах и сандалиях поверх носков, японцы с телефонами на палках. Двадцать шестое июня, пятница, Пфайфертаг — День дудочника. В этот самый день, как написано на одном здешнем доме, семьсот с лишним лет назад из города ушли дети. Спектакль, который город играет на этой площади каждое воскресенье с мая по сентябрь, в этом году справлял юбилей, и ради круглой даты его давали ещё и сегодня.

— Семьдесят лет, — сказал Петер. — Каждое воскресенье одно и то же.

— Тебе-то откуда знать?

— Я тридцать три года тут живу. Раз двести видел, не меньше.

— И не надоело?

Петер подумал, вытирая лоб.

— Надоело. Но я всегда досматриваю, как дети уходят. Сам не знаю зачем.

Петер был на три года старше, на голову ниже и вдвое шире Якова. В девяносто третьем, когда тётя Лиза с мужем, сы-

ном и шестью чемоданами уезжала из Кулунды, Петеру было девятнадцать, и он ревел в вагоне, едва поезд отошёл от Кулунды, так, что проводница принесла ему воды. Теперь он водил погрузчик на складе под Гамельном, говорил по-русски с немецкими словами вперемешку и называл это «наш язык». Вчера тёте Лизе исполнилось семьдесят пять. Родня собралась со всей Германии, человек сорок, и половину вечера пели по-немецки песни, которых Яков не знал, а половину — по-русски, и тогда он знал все.

В половине четвёртого на стене Свадебного дома, под самой крышей, ударили колокола. Распахнулись дверцы, и по кругу поехали деревянные фигурки: Крысолов в пёстром, за ним крысы, за крысами дети. Фигурки поворачивались, кланялись толпе и уезжали обратно в стену. Люди захлопали. Яков смотрел не на Крысолова, а на круг, по которому тот ездил, и думал, что шестерни там наверняка латунные и что смазывают их раз в сезон, не чаще. На таком ветру с реки уже в августе заскрипят.

— Ты чего? — спросил Петер.

— Ничего. Механизм хороший.

— Ты как батя мой. Тот в Мюнхене на ратуше тоже на шестерни смотрел.

Отец Петера, дядя Абрам, муж тёти Лизы, был тракторист и меннонит, а ещё молчун, каких Яков больше не встречал. В Германии он выучил по-немецки ровно столько, чтобы его не путали с поляком, и умер в позапрошлом году на огороде,

между грядками с укропом.

*

Спектакль начался в половине пятого.

На помост вышли горожане в длинных платьях, капюшонах и деревянных башмаках, бургомистр с цепью на животе и советники в чёрном. Петер переводил вполголоса, но переводить почти не требовалось: Яков знал эту сказку с детства, по старой книжке с картинками, которую бабушка Грета читала ему, когда он болел. Город мучают крысы. Приходит дудочник в пёстром и берётся избавить от них за деньги. Он играет, и крысы идут за ним к реке и тонут. Город платить не хочет. Дудочник уходит, а потом возвращается, когда взрослые в церкви, и играет снова, и теперь за ним идут дети.

Крыс играли малыши лет шести в серых костюмах с хвостами. Они выкатились на помост с писком, и толпа развеселилась. Дудочник был высокий, в штанах с одной красной штаниной и одной жёлтой, в пёстром колпаке, и играл на дудке по-настоящему, тонко и чисто. Крысы ползли за ним, падали в нарисованную реку, болтали ногами. Бургомистр жадничал. Советники разводили руками. Петер переводил шутки, и Яков смеялся вместе со всеми.

Под конец дудочник вернулся и заиграл другое — медленнее, ниже, — и на помост вышли дети постарше, нарядные, взявшись за руки. Толпа притихла. Дети пошли за ним через помост, вниз по ступенькам, через площадь, и толпа расступалась. Какая-то женщина в чепце бежала за ними и

звала по имени, а дети не оборачивались.

Петер перестал переводить. Яков посмотрел на него: тот смотрел на детей.

А там все — дудочник, крысы, дети, горожане — пошли вокруг площади, и зрители двинулись следом. Спектакль на этом кончался, и начиналась экскурсия: дудочник вёл всех желающих по старому городу.

— Пойдём, — сказал Петер. — Я тебе переведу. Он хорошо рассказывает, он учитель истории.

*

Учитель истории в пёстрых штанах шёл по Остерштрассе, главной улице старого города, и говорил так быстро, что Петер успевал только самое главное.

Крыс не было, сказал дудочник. Крысы появились в этой истории через триста лет. А что было, так это вот что. В 1284 году, в день святых Иоанна и Павла, двадцать шестого июня, сто тридцать детей, рождённых в Гамельне, ушли за дудочником, одетым во все цвета, — и у Голгофы, у Коппен, пропали.

— Что такое Коппен? — спросил Яков.

— Холмы, — сказал Петер. — Где-то тут. Никто точно не знает какие.

Около 1300 года, говорил дудочник, в Рыночной церкви поставили цветное окно: дудочник и дети. Окно простояло больше трёхсот лет. В 1592 году через Гамельн проезжал рыцарь из Эльзаса, увидел окно и велел срисовать, и только по-

этому мы знаем, как оно выглядело. А после окно пропало. Остались надписи на домах, запись в старой рукописи и улица, где не играют музыку.

Он остановился перед домом из песчаника, сплошь в резных розетках, с выступающим эркером.

— Дом Крысолова, — перевёл Петер. — Построили в тысяча шестьсот третьем. На балке сбоку надпись, вон там, с той улицы. Та самая: год, день, сто тридцать детей. А улица называется Бунгелозенштрассе. «Бунге» — барабан. Улица без барабанов. По ней дети шли к Восточным воротам. С тех пор здесь не играют и не танцуют. Даже свадьбы здесь замолкают: музыканты убирают инструменты и идут молча, пока не выйдут на другую улицу.

— И сейчас?

— И сейчас.

Дудочник поднял руку, и группа примолкла. Он говорил тише, почти без жестов. Петер наклонился к Якову.

— Он говорит, никто не знает, что случилось. Версий куча. Что была болезнь. Что утонули в Везере. Что их завалило в пещере. Что они плясали — тогда бывало, дети плясали, пока не падали, в Эрфурте целая толпа так дошла до другого города. Что ушли в крестовый поход. А больше всего верят, что их увели на восток. Тогда на востоке были пустые земли, и туда звали людей, давали землю и не брали налогов. Моравия, Померания, Пруссия. Говорят, там нашли гамельнские фамилии. И какой-то граф тут был, из Коппенбрюгге, — его

будто бы через пару недель после того дня ни в одной бумаге больше нет. А кто-то пишет, что они утонули в море, когда плыли туда.

— А сам он что думает?

Петер спросил. Дудочник улыбнулся и ответил коротко.

— Говорит: дело не в крысах. Дело в детях. Город сто тридцать детей потерял, а через двести лет назвал улицу, чтобы не забыть. Вот и всё, что он думает.

Они пошли дальше. Петер некоторое время молчал.

— Ты понял? — сказал он наконец. — Ушли на восток за землёй. Как наши.

— Наши ушли через семьсот лет.

— Наши ушли два раза, — сказал Петер. — Из Пруссии в Новороссию при Екатерине, оттуда в Кулунду при Столыпине. А мы с мамой — обратно сюда. Три раза, получается. И всё за землёй. Мать говорит, у меннонитов ноги длиннее, чем память.

Яков подумал о прадеде. Якоб Классен, в честь которого его назвали, привёз семью в Кулундинскую степь весной девятьсот восьмого года. Бабушка Грета рассказывала, что ехали в телячьем вагоне вместе с коровой, а прадед всю дорогу держал на коленях мешок с семенной пшеницей и не выпускал, даже когда спал. На станции Каргат купили лошадь и бричку и пять суток тащились по степи на юг, и взрослые больше шли рядом с бричкой, чем ехали. Первые две зимы прожили в землянке, а потом поставили дом. Яков ви-

дел этот дом: от него остался фундамент в бурьяне на краю Гришковки, и бабушка, пока могла ходить, каждое лето носила туда цветы.

Возле музея дудочник показал на старый каменный дом и сказал, что внутри у него башня тринадцатого века. Она стояла здесь, когда уходили дети. Яков посмотрел на дом. Песчаник, окна, вывеска музея. Никакой башни снаружи видно не было.

*

Ужинали в кафе на углу Остерштрассе, на улице, под зонтом. Петер ел шницель размером с тарелку и пил безалкогольное пиво: он был за рулём. Яков заказал то же, что и Петер, и съел половину.

Телефон в кармане дважды вздрагивал. Ирина: «Как вы там? Жара?» Следом: «Артём тебе звонил?»

Яков написал, что жара и что всё хорошо, а про Артёма ничего не написал.

— Ты сыну-то позвонил? — спросил Петер, как будто подглядел.

— Он мне позвонит.

— Яша.

— Петя, не надо.

Петер помолчал и сказал:

— Я в девятнадцать уехал от всего. От Кулунды, от друзей, от девчонки одной. Отец меня не спрашивал. Мать не спрашивала. Посадили в поезд, и всё. Я двадцать лет на них

обижался, что не спросили.

— Артёма никто не сажает. Он сам.

— Вот и я про что, — сказал Петер. — Сам.

Весной Артём приехал на майские, походил по полям, помог с ремонтом сеялки, а за день до отъезда сказал за ужином, что после диплома на ферму не вернётся. Сказал спокойно, глядя в тарелку, и Яков ничего не ответил, встал и ушёл в гараж. Ирина в ту ночь говорила с сыном до двух. Яков слышал их голоса через стену и так и не зашёл. С тех пор прошло полтора месяца. Артём звонил матери. Отцу — нет.

Темнело медленно. В девять солнце ещё стояло над крышами, а в половине десятого небо над рекой стало зелёным, как недозрелый ячмень, и над крышами проступила луна: большая, жёлтая, почти полная. Площадь пустела. Музыканты на помосте сворачивали провода.

— Машина у Везера, на парковке, — сказал Петер, поднимаясь. — Ты тут не жди, тут не встать. Иди к дому Крысолова, там за ним переулок, и в конце переход через большую улицу. Я туда подъеду. Минут десять.

— Найду.

Петер ушёл. Яков расплатился — сам, хотя Петер уже два дня не давал ему платить ни за что, — и пошёл по Остерштрассе.

Улица опустела, будто праздник выключили. Витрины горели для одних витрин. Бронзовые крысы в мостовой тускло

блестели под фонарями. Возле дома Крысолова Яков остановился и задрал голову. Луна висела низко над крышами, рядом с резным фронтоном, и ему пришло в голову, что Ирине понравилось бы. Он достал телефон, сфотографировал. Вышло плохо: луна получилась белым пятном.

Он свернул за угол, на Бунгелозенштрассе. Переулок был узкий, мощёный, между старыми домами, и после Остерштрассе в нём было почти темно. Где-то здесь, на боковой стене, была та надпись. Яков нашёл её на тёмной балке над окнами — резные буквы, старые, немецкие, и прочесть он мог только цифры: 1284, 26, 130.

Телефон в руке зазвонил.

Звонок был громкий, бодрый, тот, что поставила Ирина, и в узком переулке он загремел так, что Яков вздрогнул. На экране был Артём. Видеозвонок. В Новосибирске сейчас было без десяти три ночи.

Где-то наверху стукнула рама.

— Hier keine Musik! — крикнул из окна старческий голос. — Hier nicht! Bungelosen!

Яков поднял руку — извините, понял — и убавил звук до конца. Окно закрылось. Он нажал зелёную кнопку.

Артём сидел на кровати в общежитии, лохматый, в футболке, с красными глазами. За его спиной на стене висел плакат с какой-то игрой и календарь семенной компании, который Яков сам ему подарил.

— Пап. Привет. Ты не спишь?

— Тут десять вечера.

— А. Да. — Артём потёр лицо. — Пап, я не мог уснуть. Хотел, чтобы ты от меня услышал, а не от мамы. Я подписал. Меня берут в контору, с июля. Я остаюсь в Новосибирске.

Яков молчал.

— Пап, я не вернусь на ферму. Ни после диплома, ни потом. Я её люблю, правда. Я на ней вырос. Но я не хочу всю жизнь смотреть в небо и гадать, будет дождь или нет.

— А кто будет смотреть?

— Не знаю. Найми кого-нибудь. Пап, это твоя земля. Не моя.

— Прадед её с пустыми руками поднимал, — сказал Яков. — Дед целину пахал. А тебе, значит, не твоя.

— Пап, я не про прадеда. Я про себя.

Яков смотрел на экран и видел не сына, а сеялку, которую они вдвоём перебирали на майские, и как Артём, чумазый по локоть, радовался, когда она наконец пошла ровно. Он хотел сказать про сеялку. Сказал другое.

— Тогда не возвращайся вовсе.

Артём на экране не шевелился. Картинка застыла, рассыпалась на цветные квадраты и пропала. «Звонок прерван», — написал телефон, и следом, ниже: «Нет сети».

Яков стоял посреди переулка. Набрал Артёма — гудков не было. Набрал Петера — тоже. Сеть пропала совсем, хотя минуту назад здесь, в центре немецкого города, ловилась на все полоски.

Он пошёл к концу переулка, туда, где за домами горели фонари большой улицы и белела зебра перехода. Шёл быстро, глядя в телефон и подняв его повыше, как будто так сеть найдётся скорее. Подумал: перезвоню, как только поймаю. Скажу, что дурак. Что не то хотел сказать. Что про сеялку.

Под ногой кончилась брусчатка, и он шагнул с бордюра.

Нога ушла по щиколотку во что-то мягкое и холодное. В нос ударило дымом и навозом. Зебры не было. Фонарей не было. Большой улицы не было.

Яков поднял голову.

Луны над крышами тоже не было.

Глава 2. Стража

Первое, о чём он подумал, — что вырубило свет. Во всём квартале, а может, во всём городе. Так бывает: подстанция, авария, и фонари гаснут разом, как на ферме, когда в грозу выбивает рубильник.

Только под ногой была не мостовая. Яков вытащил ногу из холодной жижи, и кроссовка вышла с чавканьем, тяжёлая, облепленная до шнурков. Он сделал шаг назад, туда, где только что была брусчатка, и наступил на мягкое, упругое — на солому, втоптанную в грязь.

Он обернулся.

Переулка не было. То есть был какой-то проход между домами, но не тот. Дома стояли ниже, темнее, ближе друг к другу. Ни одного горящего окна. Ни резных фасадов, ни эркера, ни балки с надписью. Над головой нависали вторые этажи: выступали над первыми, как козырьки, почти смыкаясь посередине, и между ними тянулась полоса светлого неба.

Пахло дымом — не тем, что от мангала, а густым, горьким, домашним, будто где-то топили печь сырыми дровами. Пахло навозом, причём свиным, это Яков различал сразу. Пахло кислым: прокисшими помоями, мочой, гнилой соломой. Где-то рядом, за стеной, хрюкнула свинья и завозилась, устраиваясь.

Яков достал телефон. Экран засветился: пятница, 26

июня, 21:53. Тридцать один процент. «Нет сети».

Он включил фонарик.

Белый круг лёг на землю. Грязь, вся в соломе и тёмных лепёшках. Посередине прохода — канавка, по которой что-то сочилось. Плетень из ивовых прутьев, за ним тёмная туша свиньи, которая подняла рыло на свет. Стена дома: не кирпич и не штукатурка, а деревянная рама, а между брусьями — что-то серое, комковатое, с торчащими соломинами. Глина, понял Яков. Глина на плетне. Как у бабушкиного сарая. Дверь из толстых досок с железным кольцом. Колесо от телеги, прислонённое к стене. В углу блеснули два зелёных огонька — кошка — и пропали.

Где-то через два двора залаяла собака. Ей ответила вторая, дальше.

Яков выключил фонарик. Он не решал этого: руки сделали это раньше головы. Мальчишкой он ходил с отцом на охоту и помнил: в темноте фонарь не помогает, а только показывает тебя всем и слепит тебе же глаза. Без света он не увидит ничего. Со светом увидят его.

Он постоял, пока глаза привыкали.

Небо было светлое на севере, зеленоватое над крышами, как бывает в июне, когда солнце садится неглубоко. На юге и на востоке оно темнело до синевы, и там проступали звёзды — много, больше, чем он видел в Гамельне вчера и позавчера. Яков поднял голову, отыскивая луну. Пять минут назад она висела над крышами, почти полная, жёлтая, он её фото-

графировал.

Луны не было нигде.

Он повернулся вокруг себя, глядя поверх крыш. Север, светлый. Запад, где за рекой час назад село солнце. Юг. Восток. Звёзды, звёзды, тёмные силуэты крыш, какой-то шпиль. Ни луны, ни самолётных огней, ни белесого зарева над горизонтом, какое ночью стоит над любым городом, даже над Кулундой, даже над Славгородом, если смотреть из степи.

Вот это его и остановило. Не дома, не грязь, не свинья. Зарево. Его не было ни с одной стороны. Если бы вырубило Гамельн, над соседними городками, над Ганновером, над автобаном всё равно стояло бы на небе мутное пятно. А тут небо было чистое до самой земли, как в степи за сто километров от всего.

— Так, — сказал Яков вслух. — Так.

Голос прозвучал глухо и чуждо, и собака за дворами залилась снова.

*

Он пошёл назад, туда, откуда пришёл, — по крайней мере туда, где, по его расчёту, должна была быть Остерштрассе. Шёл медленно, держась середины, чтобы не налететь на угол, и всё равно дважды наступил в канаву. Проход повернул, расширился и вывел его на улицу пошире — тоже немощёную, тоже в соломе и грязи, с такой же канавой посередине. По обе стороны стояли дома, высокие, двух- и трёхэтаж-

ные, с выступающими верхами, и у некоторых окна были закрыты ставнями, а сквозь щели в ставнях пробивался красноватый свет. Кто-то за стеной кашлял. Кто-то говорил — тихо, неразборчиво.

Улица шла прямо, и он узнал её по тому, как она шла. Он полдня ходил здесь за дудочником, и длинный изгиб к площади был тот же. Те же расстояния. Та же линия. Только домов этих не было — были другие.

Посреди деревянных домов, на том самом месте, где днём был музей, стоял каменный. Квадратный, тяжёлый, в два этажа, из тёсаного камня, с узкими окошками-бойницами. Не дом даже — башня. Яков остановился.

«Внутри у него башня тринадцатого века, — перевёл ему днём Петер. — Она стояла здесь, когда уходили дети».

Он смотрел на башню, а башня стояла посреди улицы, тёмная, и никакого музея вокруг неё не было.

Где-то впереди, над крышами, ударил колокол. Один раз, другой, третий — низко, неровно, с долгим гулом между ударами, совсем не так, как звонили днём часы на Свадебном доме. Яков посчитал удары. Колокол замолчал, и стало слышно, как далеко за домами пьяный мужской голос тянет песню, сбивается и начинает сначала.

Он стоял и заставлял себя думать по порядку, как думал в поле, когда в разгар уборки вставал комбайн. Сначала — что есть. Потом — что из этого следует. Потом — что делать.

Есть: улица, которая идёт там же, где Остерштрассе. Баш-

ня на месте музея. Нет ни одного фонаря, ни одного провода, ни одной машины, ни одного звука мотора. Нет зарева над горизонтом. Нет луны, хотя пять минут назад была. Под ногами навоз, а не брусчатка. Свиньи в городе. Колокол, который звонит как-то не так.

Это не декорации: декорации так не пахнут и не тянутся на километр. Не сон: во сне не промокают ноги. Не удар: при ударе не думают по пунктам.

Значит, следует… Тут он остановился. Дальше не думалось. Дальше было слово, которое вчера и позавчера звучало в шутку — «как будто в Средневековье попал», — и Яков его отодвинул.

Что делать. Найти людей. Узнать, где он и что тут происходит. Не дать себя убить, пока не узнает. И утром — утром будет видно.

Он пошёл дальше по улице, к востоку. Туда, где днём был переход и где Петер обещал подъехать. Шёл и понимал, что Петер не подъедет.

*

Улица кончилась стеной.

Она поднялась впереди тёмной громадой выше домов, ровная, без единого огня, и в ней, прямо по оси улицы, стояла башня с воротами. Ворота были закрыты — две створки, окованные железом. Сбоку от них, под сводом, висел фонарь: не электрический, а коробка со свечой, со стенками из чего-то мутного, жёлтого, и света от него было ровно столь-

ко, чтобы разглядеть створки и двух человек под ними. В маленьком окошке рядом, в толще стены, мерцал огонь очага.

Восточные ворота, подумал Яков. «По ней дети шли к Восточным воротам».

Двое сидели на лавке у стены. Один большой, грузный, в капюшоне. Второй тоньше и, кажется, моложе. У обоих были копья — длинные древки с железом наверху, прислонённые к стене.

Яков остановился в темноте, шагах в двадцати.

Можно было уйти назад, в улицу. Спрятаться, переждать до утра в каком-нибудь проходе за плетнём. Но куда переждать? В чужом городе, ночью, в одежде, которая светится оранжевым? Его найдут собаки, или хозяин свиньи, или эти же двое на обходе, и тогда он будет не просто чужой — он будет чужой, который прятался. Таких бьют сначала, а спрашивают потом. Это Яков знал без всякой истории: в деревне так же.

Он сунул руку в карман и нащупал телефон. Если они увидят, как светится экран… Он зажал кнопку сбоку и держал, пока телефон не дрогнул в пальцах. Выключился. Тридцать один процент. Пусть будет тридцать один процент на потом.

Он вышел на свет, показывая открытые ладони.

Оба вскочили. Большой схватил копьё и выставил его вперёд, молодой замешкался и схватил своё вторым.

— Вэ дар? — рявкнул большой.

Яков понял. Не головой — спиной, затылком, чем-то,

что помнило бабушкину кухню в Гришковке, её голос через дверь: «Вэ ис дар?» Кто там. Так она спрашивала, когда стучали.

— Я… — сказал он по-русски и спохватился. — Ich… Entschuldigung. Ich bin…

Школьный немецкий на этом иссяк. Учительница немецкого, Нина Карловна, говорила, что у Шестакова хорошее произношение и ни капли старания. Она была права.

Большой шагнул вперёд и поднял фонарь. Свет упал на Якова, на оранжевую ветровку, на джинсы, на облепленные грязью кроссовки. На рукаве ветровки вспыхнула полоска светоотражателя — белым, ярко, как глаз. Молодой отшатнулся и перекрестился. Большой не отшатнулся, но копьё поднял выше, к самому горлу.

— Ват ис дат? — сказал он, глядя на рукав.

«Ват ис дат». Яков чуть не засмеялся, и от этого стало страшнее, чем от копья. Это тоже было бабушкино. «Ват ис дат, кинд?» — что это у тебя, детка, — когда он приносил с улицы ужа или битую коленку.

— Куртка, — сказал он. — Jacke.

Большой не понял. Он обошёл Якова кругом, держа копьё у его бока, и что-то быстро говорил молодому. Яков ловил слова, как рыбу руками: что-то про ночь, про ворота, «кумст» — пришёл, — «вор» — откуда, «дэф» — это он не знал, но по тону догадался.

— Hameln? — спросил Яков и показал себе под ноги. —

Hameln?

Большой уставился на него, а затем коротко хохотнул и сказал молодому что-то, где Яков разобрал «Хамельн» и «вор андерс», а молодой нервно улыбнулся.

Гамельн. Значит, всё-таки Гамельн.

Его обыскали. Большой держал копьё, молодой хлопал по карманам. Ключи от дома и от трактора — молодой поднёс их к фонарю, повертел, позвенел и сунул себе за пояс. Телефон — молодой вытащил его из кармана и замер, глядя в чёрное стекло. Там отражалось его собственное лицо: курносое, мальчишеское, с пушком над губой, лет семнадцати.

— Шпегель, — сказал он тихо.

Зеркало, догадался Яков. Шпигель. Чёрное зеркало.

Большой отнял телефон, посмотрел в него тоже, перевёл взгляд на Якова и снова уставился в стекло. Повертел, поскрёб ногтем чехол и вернул молодому. Сам полез Якову за пазуху, во внутренний карман ветровки, и вытащил бумажник вместе с паспортом в обложке.

Бумажник он раскрыл у фонаря. Звякнули монеты — евро и рубли вперемешку, жёлтые, белые, двухцветные. Большой зачерпнул их пальцем, поднёс одну к свету, попробовал на зуб. Вытащил купюру, пощупал, поднёс к носу. Яков видел его лицо: широкое, рябое, с перебитым носом. В глазах было не удивление, а расчёт. Большой захлопнул бумажник, сунул его вместе с паспортом себе под одежду, за пояс, и сказал что-то молодому, не глядя на него.

Молодой посмотрел на пояс большого, на Якова — и отвёл глаза.

Яков ничего не сказал. Сказать он не мог ничего, что эти двое поняли бы. А если бы и мог — кто здесь поверит чужаку в светящейся одежде против своего стражника? Он запомнил лицо. Рябое, широкое, перебитый нос, на левой руке не хватает половины мизинца. Запомнил — и всё.

*

Его завели в башню, через низкую дверь сбоку от ворот, и вниз по трём ступеням. Там была каморка с каменным сводом, такая низкая, что Яков стукнулся макушкой. Пахло мочой, сыростью и старым дымом. На полу — солома, в углу — деревянная бадья. Свет фонаря скользнул по стенам: камень, камень, в одном месте выцарапан крест, в другом — какие-то зарубки рядами.

Большой что-то сказал напоследок и захлопнул дверь. Стукнул засов.

Стало темно. Совсем, как в погребе. Только под самым сводом светилась узкая щель — окошко в толще стены, не шире ладони, — и в нём было небо: тёмно-синее, с одной звездой.

Яков сел на солому, привалившись спиной к стене. Камень был холодный и влажный, и холод быстро прошёл сквозь куртку.

Через некоторое время засов снова стукнул. Дверь приоткрылась, и в щель просунулась рука с деревянной кружкой.

Молодой. Он что-то сказал шёпотом, быстро, и в шёпоте было слово «ватер».

Вода.

Яков взял кружку. Пальцы молодого на миг коснулись его пальцев — холодные, шершавые.

— Danke, — сказал Яков.

Молодой помедлил, как будто хотел спросить. Не спросил. Дверь закрылась, засов стукнул.

Вода пахла деревом и немного тиной. Яков выпил всю.

Он долго сидел и смотрел на звезду в щели. Звезда медленно ползла вбок, к краю камня, и это было единственное, что здесь двигалось.

Он перебрал всё ещё раз, по порядку, как перебирают зерно на ладони. Гамельн. Восточные ворота. Каменная башня среди деревянных домов. Нет луны. Нет зарева. Копья. Свечной фонарь. Монету пробуют на зуб. Перекрестился на светоотражатель. «Ват ис дат», «вэ дар», «ватер» — бабушкины слова, только произнесённые по-другому, твёрже, будто бабушкиной речи кто-то сточил углы.

Слово, которое он отодвинул на улице, вернулось. Теперь отодвигать его было некуда.

Днём, на этой самой улице, учитель истории в костюме дудочника говорил: тысяча двести восемьдесят четвёртый год, двадцать шестое июня. Сегодня тоже было двадцать шестое июня — по телефону. А что сегодня здесь, Яков не знал. Он ничего не знал, кроме того, что вокруг Гамельн, который не

Гамельн, и что луна пропала.

Хорошо, сказал он себе. Это потом. Утром. Утром придёт кто-то, кто главнее этих двоих, и надо будет говорить, и надо будет понять, что говорить. Надо будет есть. Надо будет, чтобы не прибили. А что за год, что за век и почему — подождёт. Сначала то, что можно сделать руками.

Он лёг на солому и закрыл глаза. Не спалось.

Звонок Артёма, застывшая картинка, цветные квадраты. «Тогда не возвращайся вовсе». Он сказал это сыну полтора часа назад — или семьсот лет вперёд. Он хотел сказать про сеялку. Про то, как в мае они с ней возились три дня, и Артём радовался, и руки у него были в мазуте по локоть, и это было лучшее, что случилось с Яковом за весь год. Он хотел сказать: я не умею без тебя, вот в чём дело. А сказал — не возвращайся.

Звезда ушла за край щели. Где-то высоко над головой, наверху башни, кто-то прошёл по доскам, тяжело, и сверху посыпалась труха.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.